

АКАДЕМИЯ НАУК СССР ~ ИНСТИТУТ ЛИТЕРАТУРЫ

М. ГОРЬКИЙ и А. ЧЕХОВ

ПЕРЕПИСКА, СТАТЬИ
И ВЫСКАЗЫВАНИЯ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
С. Д. БАЛУХАТОГО

1937

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА • ЛЕНИНГРАД

Однажды он позвал меня к себе в деревню Кучук-Кой, где у него был маленькой клочок земли и белый двухэтажный домик. Там, показывая мне свое „имение“, он оживленно заговорил:

— Если бы у меня было много денег, я устроил бы здесь санаторий для больных сельских учителей. Знаете, я выстроил бы этакое светлое здание — очень светлое, с большими окнами и с высокими потолками. У меня была бы прекрасная библиотека, разные музыкальные инструменты, пчельник, огород, фруктовый сад; можно бы читать лекции по агрономии, метеорологии, учителю нужно все знать, батенька все!

Он вдруг замолчал, кашлянул, посмотрел на меня сбоку и улыбнулся своей мягкой, милой улыбкой, которая всегда так неотразимо влекла к нему и возбуждала особенное острое внимание к его словам.

— Вам скучно слушать мои фантазии? А я люблю говорить об этом. Если б вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича! Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело, а у нас — это черно-рабочий, плохо образованный человек, который идет учить ребят в деревню с такой же охотой, с какой пошел бы в ссылку. Он голоден, забит, запуган возможностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он был первым человеком в деревне, чтобы он

мог ответить мужику на все его вопросы, чтобы мужики признавали в нем силу, достойную внимания и уважения, чтобы никто не смел орать на него... унижать его личность, как это делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп, становой, попечитель школы, старшина, и тот чиновник, который носит звание инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а только о тщательном исполнении циркуляров округа. Нелепо же платить гроши человеку, который призван воспитывать народ, — вы понимаете? — воспитывать народ! Нельзя же допускать, чтоб этот человек ходил в лохмотьях, дрожал от холода в сырых, дырявых школах, угорал, простужался, наживал себе к тридцати годам ларингит, ревматизм, туберкулез... ведь это же стыдно нам! Наш учитель восемь-девять месяцев в году живет как отшельник, ему не с кем сказать слова, он тупеет в одиночестве, без книг, без развлечений. А созовет он к себе товарищей — его обвинят в неблагонадежности, — глупое слово, которым хитрые люди пугают дураков!.. Отвратительно все это... какое-то издевательство над человеком, который делает большую, страшно важную работу. Знаете, — когда я вижу учителя, — мне делается неловко перед ним и за его робость, и за то, что он плохо одет, мне кажется, что в этом убожестве учителя и сам я чем-то виноват... серьезно!

Он замолчал, задумался и, махнув рукой, тихо сказал:

— Такая нелепая, неуклюжая страна — эта наша Россия.

Тень глубокой грусти покрыла его славные глаза, тонкие лучи морщин окружили их, углубляя его взгляд. Он посмотрел вокруг и пошутил над собой:

— Видите, — целую передовую статью из либеральной газеты я вам закатил. Пойдемте — чаю дам, за то, что вы такой терпеливый...

Это часто бывало у него: — говорит так тепло, серьезно, искренно и вдруг усмехнется над собой и над речью своей, и в этой мягкой, грустной усмешке чувствовался тонкий скептицизм человека, знающего цену слов, цену мечтаний. И еще в этой усмешке сквозила милая скромность, чуткая деликатность...

Мы тихонько и молча пошли в дом. Тогда был ясный, жаркий день; играя яркими лучами солнца, шумели волны; под горой

ласково подвизгивала, чем-то довольная, собака. Чехов взял меня под руку и, покашливая, медленно проговорил:

— Это стыдно и грустно, а верно: есть множество людей, которые завидуют собакам...

И тотчас же, засмеявшись, добавил:

— Я сегодня говорю все дряхлые слова... значит,— старею!

Мне очень часто приходилось слышать от него:

— Тут, знаете, один учитель приехал... больной, женат, — у вас нет возможности помочь ему? Пока я его уже устроил...

Или:

— Слушайте, Горький,— тут один учитель хочет познакомиться с вами. Он не выходит, болен. Вы бы сходили к нему — хорошо?

Или:

— Вот учительницы просят прислать книг...

Иногда я заставлял у него этого „учителя“: обыкновенно учитель, красный от сознания своей неловкости, сидел на краешке стула и в поте лица подбирал слова, стараясь говорить глаже и „образованнее“, или, с развязностью болезненно застенчивого человека, весь сосредоточивался на желании не показаться глупым в глазах писателя и осыпал Антона Павловича градом вопросов, которые едва ли приходили ему в голову до этого момента.

Антон Павлович внимательно слушал нескладную речь; в его грустных глазах поблескивала улыбка, вздрагивали морщинки на висках, и вот своим глубоким, мягким, точно матовым голосом он сам начинал говорить простые, ясные, близкие к жизни слова,— слова, которые как-то сразу упрощали собеседника: он переставал стараться быть умником, отчего сразу становился и умнее, и интереснее...

Помню, один учитель — высокий, худой, с желтым, голодным лицом и длинным горбатым носом, меланхолично загнутым к подбородку, сидел против Антона Павловича и, неподвижно глядя в лицо ему черными глазами, угрюмо басом говорил:

— Из подобных впечатлений бытия на протяжении педагогического сезона образуется такой психический конгломерат,

который абсолютно подавляет всякую возможность объективного отношения к окружающему миру. Конечно, мир есть не что иное, как только наше представление о нем...

Тут он пустился в область философии и зашагал по ней, напоминая пьяного на льду.

— А скажите, — не громко и ласково спросил Чехов, — кто это в вашем уезде бьет ребят?

Учитель вскочил со стула и возмущенно замахал руками:

— Что вы! Я? Никогда! Бить?

И обиженно зафыркал.

— Вы не волнуйтесь, — продолжал Антон Павлович, успокоительно улыбаясь, — разве я говорю про вас? Но я помню — читал в газетах — кто-то бьет, именно в вашем уезде...

Учитель сел, вытер вспотевшее лицо и, облегченно вздохнув, глухим басом заговорил:

— Верно! Был один случай. Это — Макаров. Знаете — не удивительно! Дико, но — объяснимо. Женат он — четверо детей, жена — больная, сам тоже — в чахотке. Жалованье — 20 рублей, а школа — погреб и учителю — одна комната. При таких условиях — ангела божия поколотишь безо всякой вины, а ученики — они далеко не ангелы, уж поверьте!

И этот человек, только-что безжалостно поражавший Чехова своим запасом умных слов, вдруг, зловеще покачивая горбатым носом, заговорил простыми, тяжелыми, точно камни, словами, ярко освещая проклятую, грозную правду той жизни, которой живет русская деревня...

Прощаясь с хозяином, учитель взял обеими руками его небольшую сухую руку с тонкими пальцами и, потрясая ее, сказал:

— Шел я к вам, будто к начальству, — с робостью и дрожью, надулся как индейский петух, хотел показать вам, что, мол, и я не лыком шит... а ухожу вот — как от хорошего, близкого человека, который все понимает. Великое это дело — все понимать! Спасибо вам! Иду. Уношу с собой хорошую, добрую мысль: крупные-то люди проще и понятливее, и ближе душой к нашему брату, чем все эти мизеры, среди которых мы живем. Прощайте! Никогда я не забуду вас...

Нос у него вздрогнул, губы сложились в добрую улыбку и он неожиданно добавил:

— А собственно говоря, и подлецы — тоже несчастные люди, — чорт их возьми!

Когда он ушел, Антон Павлович посмотрел вслед ему, усмехнулся и сказал:

— Хороший парень. Не долго проучит...

— Почему?

— Затравят... прогонят...

Подумав, он добавил негромко и мягко:

— В России честный человек — что-то в роде трубочиста, которым няньки пугают маленьких детей...

Мне кажется, что всякий человек при Антоне Павловиче невольно ощущал в себе желание быть проще, правдивее, быть более самим собой, и я не раз наблюдал, как люди сбрасывали с себя пестрые наряды книжных фраз, модных слов и все прочие дешевенькие штучки, которыми русский человек, желая изобразить европейца, украшает себя, как дикарь раковинами и рыбьими зубами. Антон Павлович не любил рыбы зубы и петушиные перья; все пестрое, гремящее и чужое, надетое человеком на себя для „пушей важности“, вызывало в нем смущение, и я замечал, что каждый раз, когда он видел перед собой разряженного человека, им овладевало желание освободить его от всей этой тягостной и ненужной мишуры, искажавшей настоящее лицо и живую душу собеседника. Всю жизнь А. Чехов прожил на средства своей души, всегда он был самим собой, был внутренне свободен и никогда не считался с тем, чего одни — ожидали от Антона Чехова, другие, более грубые, — требовали. Он не любил разговоров на „высокие“ темы, — разговоров, которыми этот милый русский человек так усердно потешает себя, забывая, что смешно, но совсем не остроумно рассуждать о зархатных костюмах в будущем, не имея в настоящем даже приличных штанов.

Красиво-простой, он любил все простое, настоящее, искреннее, и у него была своеобразная манера опрощать людей.

Однажды его посетили три пышно одетые дамы; наполнив его комнату шумом шелковых юбок и запахом крепких духов, они чинно уселись против хозяина, притворились, будто бы их очень интересует политика, и — начали „ставить вопросы“.

— Антон Павлович! А как вы думаете, чем кончится война? Антон Павлович покашлял, подумал и мягко, тоном серьезным, ласковым ответил:

— Вероятно, — миром...

— Ну, да, конечно! — Но кто же победит? Греки или турки?

— Мне кажется, — победят те, которые сильнее...

— А кто, по вашему, сильнее? — на перебой спрашивали дамы.

— Те, которые лучше питаются и более образованы...

— Ах, как это остроумно! — воскликнула одна.

— А кого вы больше любите — греков или турок? — спросила другая.

Антон Павлович ласково посмотрел на нее и ответил с кроткой, любезной улыбкой:

— Я люблю — мармелад... — а вы любите?

— Очень! — оживленно воскликнула дама.

— Он такой ароматный! — солидно подтвердила другая.

И все три оживленно заговорили, обнаруживая по вопросу о мармеладе прекрасную эрудицию и тонкое знание предмета. Было очевидно — они очень довольны тем, что не нужно напрягать ума и притворяться серьезно заинтересованными турками и греками, о которых они до этой поры и не думали.

Уходя, они весело пообещали Антону Павловичу:

— Мы пришлем вам мармеладу!

— Вы славно беседовали! — заметил я, когда они ушли.

Антон Павлович тихо рассмеялся и сказал:

— Нужно, чтоб каждый человек говорил своим языком...

Другой раз я застал у него молодого, красивенького товарища прокурора. Он стал перед Чеховым и, потряхивая кудрявой головой, бойко говорил:

— Рассказом „Злоумышленник“ вы, Антон Павлович, ставите предо мной крайне сложный вопрос. Если я признаю в Денисе Григорьеве наличность злой воли, действовавшей сознательно, я должен, без оговорок, упечь Дениса в тюрьму, как этого требуют интересы общества. Но он дикарь, он не сознавал преступности деяния, мне его жалко! Если же я отнесусь к нему, как к субъекту, действовавшему без разумения, и поддамся чувству сострадания, — чем я гарантирую обществу, что Денис вновь не отвинтит гайки на рельсах и не устроит крушения? Вот вопрос! Как же быть?

Он замолчал, откинул корпус назад и уставился в лицо Антону Павловичу испытующим взглядом. Мундирчик на нем был новенький, и пуговицы на груди блестели так же самоуверенно и тупо, как глазки на чистеньком личике юного ревнителя правосудия.

— Если б я был судьей, — серьезно сказал Антон Павлович, — я бы оправдал Дениса...

— На каком основании?

— Я сказал бы ему: ты, Денис, еще не созрел до типа сознательного преступника, ступай — и дозрей!

Юрист засмеялся, но тотчас же вновь стал торжественно серьезен и продолжал:

— Нет, уважаемый Антон Павлович, — вопрос, поставленный вами, может быть разрешен только в интересах общества, жизнь и собственность которого я призван охранять. Денис — дикарь, да, но он — преступник, вот истина!

— Вам нравится граммофон? — вдруг ласково спросил Антон Павлович.

— О, да! Очень! Изумительное изобретение! — живо отозвался юноша.

— А я терпеть не могу граммофонов! — грустно сознался Антон Павлович.

— Почему?

— Да они же говорят и поют, ничего не чувствуя. И все у них карикатурно выходит, мертво... А фотографией вы не занимаетесь?

Оказалось, что юрист страстный поклонник фотографии; он тотчас же с увлечением заговорил о ней, совершенно не интересуясь граммофоном, несмотря на свое сходство с этим „изумительным изобретением“, тонко и верно подмеченное Чеховым. Снова я видел, как из мундира выглянул живой и довольно забавный человек, который пока еще чувствовал себя в жизни, как щенок на охоте.

Проводив юношу, Антон Павлович угрюмо сказал:

— Вот этикие прыщи на... сиденье правосудия — распоряжаются судьбой людей.

И, помолчав, добавил:

— Прокуроры очень любят удить рыбу. Особенно — ершей!

Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость, — искусством, которое доступно только человеку высоких требований к жизни, которое создается лишь горячим желанием видеть людей простыми, красивыми, гармоничными. Пошлость всегда находила в нем жестокого и строгого судью.

Кто-то рассказывал при нем, что издатель популярного журнала, человек, постоянно рассуждающий о необходимости любви и милосердия к людям — совершенно неосновательно оскорбил кондуктора на железной дороге, и что вообще этот человек крайне грубо обращается с людьми, зависимыми от него.

— Ну, еще бы, — сказал Антон Павлович, хмуро усмехаясь, — ведь он же аристократ, образованный... он же в семинарии учился! Отец его в лаптях ходил, а он носит лаковые ботинки...

И в тоне этих слов было что-то, что сразу сделало „аристократа“ ничтожным и смешным.

— Очень талантливый человек, — говорил он об одном журнальщике. — Пишет всегда так благородно, гуманно... лимонно. Жену свою ругает при людях душой. Комната для прислуги у него сырая, и горничные постоянно наживают ревматизм...

— Вам, Антон Павлович, нравится NN?

— Да... очень. Приятный человек, — покашливая, соглашается Антон Павлович. — Все знает. Читает много. У меня три книги зачитал. Рассеянный он, сегодня скажет вам, что вы чудесный человек, а завтра кому-нибудь сообщит, что вы у мужа вашей любовницы шелковые носки украли, черные, с синими полосками...

Кто-то при нем жаловался на скуку и тяжесть „серьезных“ отделов в толстых журналах.

— А вы не читайте этих статей, — убежденно посоветовал Антон Павлович. — Это же дружеская литература... литература приятелей. Ее сочиняют гг. Краснов, Чернов и Белов. Один напишет статью, другой возразит, а третий примиряет противоречия первых. Похоже, как будто они в винт с болваном играют. А зачем все это нужно читателю, — никто из них себя не спрашивает.

Однажды пришла к нему какая-то полная дама, здоровая, красивая, красиво одетая и начала говорить „под Чехова“:

— Скучно жить, Антон Павлович! Всё так серо: люди, небо, море, даже цветы кажутся мне серыми. И нет желаний... душа в тоске. Точно какая-то болезнь...

— Это — болезнь! — убежденно сказал Антон Павлович. — Это болезнь. По-латыни она называется morbus pritvorialis.

Дама, к ее счастью, видимо, не знала по-латыни, а может быть скрыла, что знает.

— Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю, — говорил он, усмехаясь своей умной усмешкой. — Лошадь работает, все мускулы натянуты, как струны на контрабасе, а тут на крупе садится слепень и щекочет, и жужжит. Нужно — встряхивать кожу и махать хвостом. О чем он жужжит? Едва ли ему понятно это. Просто — характер у него беспокойный и заявить о себе хочется, — мол, тоже на земле живу! Вот видите, — могу даже жужжать, обо всем могу жужжать! Я двадцать пять лет читаю критики на мои рассказы, и ни одного ценного указания не помню, ни одного доброго совета не слышал. Только однажды Скабичевский произвел на меня впечатление, он написал, что я умру в пьяном виде под забором...

В его серых, грустных глазах почти всегда мягко искрилась тонкая насмешка, но порой эти глаза становились холодны, остры и жестки; в такие минуты его гибкий, задушевный голос звучал тверже, и тогда — мне казалось, что этот скромный, мягкий человек, если он найдет нужным, может встать против враждебной ему силы крепко, твердо и не уступит ей.

Порою же, казалось мне, — что в его отношении к людям было чувство какой-то безнадежности, близкое к холодному, тихому отчаянию.

— Странное существо — русский человек! — сказал он однажды. — В нем, как в решете, ничего не задерживается. В юности он жадно наполняет душу всем, что под руку попало, а после тридцати лет в нем остается какой-то серый хлам. Чтобы хорошо жить, по-человечески — надо же работать! Работать с любовью, с верой. А у нас не умеют этого. Архитектор, выстроив два-три приличных дома, садится играть в карты, играет всю жизнь, или же торчит за кулисами театра. Доктор, если он имеет практику, перестает следить за наукой, ничего, кроме „Новостей терапии“, не читает и в сорок лет серьезно

убежден, что все болезни — простудного происхождения. Я не встречал ни одного чиновника, который хоть немножко понимал бы значение своей работы: обыкновенно он сидит в столице или губернском городе, сочиняет бумаги и посылает их в Змиев и Сморгонь для исполнения. А кого эти бумаги лишат свободы движения в Змиеве и Сморгони — об этом чиновник думает так же мало, как атеист о мучениях ада. Сделав себе имя удачной защитой, адвокат уже перестает заботиться о защите правды, а защищает только право собственности, играет на скачках, ест устриц и изображает собой тонкого знатока всех искусств. Актер, сыгравши сносно две-три роли, уже не учит больше ролей, а надевает цилиндр и думает, что он гений. Вся Россия — страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них — собачья: бьют их — они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают — они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...

Тоскливое и холодное презрение звучало в этих словах. Но, презирая, он сожалел, и когда, бывало, при нем ругнешь кого-нибудь, Антон Павлович сейчас же вступится:

— Ну, зачем вы? Он же старик, ему семьдесят лет...

Или:

— Он же ведь еще молодой, это же по глупости...

И когда он говорил так, — я не видел на его лице брезгливости...

В юности пошлость кажется только забавной и ничтожной, понемногу она окружает человека своим серым туманом, пропитывает мозг и кровь его, как яд и угар, и человек становится похож на старую вывеску, изъеденную ржавчиной: как будто что-то изображено на ней, а что? — не разберешь.

Антон Чехов уже в первых рассказах своих умел открыть в тусклом море пошлости ее трагически-мрачные шутки; стоит только внимательно прочесть его „юмористические“ рассказы, чтобы убедиться, как много за смешными словами и положениями — жестокого и противного скорбно видел и стыдливо скрывал автор.

Он был как-то целомудренно скромнен, он не позволял себе громко и открыто сказать людям:

— Да будьте же вы... порядочнее! — тщетно надеясь, что они сами догадуются о настоятельной необходимости для них быть порядочнее. Ненавидя все пошлое и грязное, он описывал мерзости жизни благородным языком поэта, с мягкой усмешкой юмориста, а за прекрасной внешностью его рассказов мало заметен полный горького упрека их внутренний смысл.

Почтеннейшая публика, читая „Дочь Альбиона“, смеется и едва ли видит в этом рассказе гнуснейшее издевательство сытого барина над человеком одиноким, всему и всем чужим. И в каждом из юмористических рассказов Антона Павловича я слышу тихий, глубокий вздох чистого, истинно-человеческого сердца, безнадежный вздох сострадания к людям, которые не умеют уважать свое человеческое достоинство и, без сопротивления подчиняясь грубой силе, живут, как рабы, ни во что не верят, кроме необходимости каждый день хлебать возможно более жирные щи, и ничего не чувствуют, кроме страха, как бы кто-нибудь сильный и наглый не побил их.

Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины.

Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней, ее он осмеивал и ее изображал бесстрастным острым пером, умея найти плесень пошлости даже там, где с первого взгляда казалось, все устроено очень хорошо, удобно, даже — с блеском... И пошлость за это отомстила ему скверненькой выходкой, положив его труп — труп поэта — в вагон для перевозки „устриц“.

Грязно-зеленое пятно этого вагона кажется мне именно огромной, торжествующей улыбкой пошлости над уставшим врагом, а бесчисленные „воспоминания“ уличных газет — лицемерной грустью, за которой я чувствую холодное, пахучее дыхание все той же пошлости, втайне довольной смертью врага своего.

Читая рассказы Антона Чехова, чувствуешь себя точно в грустный день поздней осени, когда воздух так прозрачен и в нем резко очерчены голые деревья, тесные дома, серенькие люди. Все так странно — одиноко, неподвижно и бессильно.

Углубленные синие дали — пустыни и, сливаясь с бледным небом, дышат тоскливым холодом на землю, покрытую мерзлой грязью. Ум автора, как осеннее солнце, с жестокой ясностью освещает избитые дороги, кривые улицы, тесные и грязные дома, в которых задыхаются от скуки и лени маленькие жалкие люди, наполняя дома свои неосмысленной, полусонной суетой. Вот тревожно, как серая мышь, шмыгает „Душечка“ — милая, кроткая женщина, которая так рабски, так много умеет любить. Ее можно ударить по щеке и она даже застонать громко не посмеет, кроткая раба. Рядом с ней грустно стоит Ольга из „Трех сестер“: она тоже много любит и безропотно подчиняется капризам развратной и пошлой жены своего лентяя-брата, на ее глазах ломается жизнь ее сестер, а она плачет и никому ничем не может помочь, и ни одного живого, сильного слова протеста против пошлости нет в ее груди.

Вот слезоточивая Раневская и другие бывшие хозяева „Вишневого сада“, — эгоистичные, как дети, и дряблые, как старики. Они опоздали во время умереть и ноют, ничего не видя вокруг себя, ничего не понимая, — паразиты, лишенные сил снова присосаться к жизни. Дряньенький студент Трофимов красно говорит о необходимости работать и — бездельничает, от скуки развлекаясь глупым издевательством над Варей, работающей не покладая рук для благополучия бездельников.

Вершинин мечтает о том, как хороша будет жизнь через триста лет, и живет, не замечая, что около него все разлагается, что на его глазах Соленый от скуки и по глупости готов убить жалкого барона Тузенбаха.

Проходит перед глазами бесчисленная вереница рабов и рабынь своей любви, своей глупости и лени, своей жадности к благам земли; идут рабы темного страха пред жизнью, идут в смутной тревоге и наполняют жизнь бессвязными речами о будущем, чувствуя, что в настоящем — нет им места...

Иногда в их серой массе раздается выстрел, это Иванов или Треплев догадались, что им нужно сделать и — умерли.

Многие из них красиво мечтают о том, как хороша будет жизнь через двести лет, и никому не приходит в голову простой вопрос: да кто же сделает ее хорошей, если мы будем только мечтать?

Мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадежной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал:

— Скверно вы живете, господа!

Пятый день повышена температура, а лежать не хочется. Серенький финский дождь кропит землю мокрой пылью. На форте Инно бухают пушки, их „пристреливают“. По ночам лижет облако длинный язык прожектора, зрелище отвратительное, ибо не дает забыть о дьявольском навождении — войне.

Читал Чехова. Если б он не умер десять лет тому назад, война, вероятно, убила бы его, отравив сначала ненавистью к людям. Вспомнил его похороны.

Гроб писателя, так „нежно любимого“ Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его: „Для устриц“. Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Манчжурии генерала Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом Чехова шагало человек сто, не более; очень памятливы два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках — женихи. Идя сзади них, я слышал, что один, В. А. Маклаков, говорит об уме собак, другой, незнакомый, расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:

„Ах, он был удивительно милый и так остроумен...“

Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околоточный на толстой белой лошади. Все это и еще многое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике.

В одном из писем к старику А. С. Суворину Чехов сказал: „Нет ничего скучнее и непоэтичнее, так сказать, как прозаик-

ческая борьба за существование, отнимающая радость жизни и вгоняющая в апатию“.

Этими словами выражено очень русское настроение, вообще, на мой взгляд, не свойственное А. П. В России, где всего много, но нет у людей любви к труду, так мыслит большинство. Русский любит энергию, но — плохо верит в нее. Писатель активного настроения — например, Джек Лондон — невозможен в России. Хотя книги Лондона читаются у нас охотно, но я не вижу, чтоб они побуждали волю русского человека к деянию, они только раздражают воображение. Но Чехов — не очень русский в этом смысле. Для него еще в юности „борьба за существование“ развернулась в неприглядной, бескрасочной форме ежедневных мелких забот о куске хлеба не только для себя, — о большом куске хлеба. Этим заботам, лишенным радостей, он отдал все силы юности, и надо удивляться, как он мог сохранить свой юмор. Он видел жизнь только как скучное стремление людей к сытости, покою, великие драмы и трагедии ее были скрыты для него под толстым слоем обыденного. И лишь освободясь немного от заботы видеть вокруг себя сытых людей, он зорко взглянул в суть этих драм.

Я не видел человека, который чувствовал бы значение труда как основания культуры, так глубоко и всесторонне, как А. П. Это выражалось у него во всех мелочах домашнего обихода, в подборе вещей и в той благородной любви к вещам, которая, совершенно исключая стремление накапливать их, не устает любоваться ими как продуктом творчества дела человеческого. Он любил строить, разводить сады, украшать землю, он чувствовал поэзию труда. С какой трогательной заботой наблюдал он, как в саду его растут посаженные им плодовые деревья и декоративные кустарники! В хлопотах о постройке дома в Аутке он говорил:

— Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша.

Затеяв писать пьесу „Васька Буслаев“, я прочитал ему хвастливый Васькин монолог:

Эх-ма, кабы силы да поболее мне!
Жарко бы дохнул я — снега бы растопил,
Круг земли пошел бы да всю распахал,
Век бы ходил — города городил,

Церкви бы строил, да сады все сажал!
Землю разукрасил бы — как девушку,
Обнял бы ее — как невесту свою,
Поднял бы я землю ко своим грудям,
Поднял бы, понес ее ко господу:
— Глянь-ко ты, господи, земля-то какова, —
Сколько она Васькой изукрашена!
Ты, вот, ее камнем пустил в небеса,
Я ж ее сделал изумрудом дорогим!
Глянь-ко, ты, господи, порадуйся,
Как она зелено на солнышке горит!
Дал бы я тебе ее в подарочек
Да — накладно будет — самому дорого!

Чехову понравился этот монолог, взволнованно покашливая, он говорил мне и доктору А. Н. Алексину:

— Это хорошо... Очень настоящее, человеческое! Именно в этом „смысл философии всей“. Человек сделал землю обитаемой, он сделает ее и уютной для себя. — Кивнув упрямо головой, повторил:

— Сделает!

Предложил прочитать похвальбу Васькину еще раз, выслушал, глядя в окно, и посоветовал:

— Две последние строчки — не надо, это озорство. Лишнее...

О своих литературных работах он говорил мало, неохотно; хочется сказать — целомудренно и с тою же, пожалуй, осторожностью, с какой говорил о Льве Толстом. Лишь изредка, в час веселый, усмехаясь расскажет тему, всегда — юмористическую.

— Знаете, — напишу об учительнице, она атеистка, — обожает Дарвина, уверена в необходимости бороться с предрассудками и суевериями народа, а сама, в двенадцать часов ночи варит в бане черного кота, чтоб достать „дужку“ — косточку, которая привлекает мужчину, возбуждая в нем любовь, — есть такая косточка... — О своих пьесах он говорил как о „веселых“ и, кажется, был искренно уверен, что пишет именно

„веселые пьесы“. Вероятно, с его слов Савва Морозов упрямо доказывал:

— Пьесы Чехова надо ставить как лирические комедии.

Но вообще к литературе он относился со вниманием очень зорким, особенно же трогательно — к „начинающим писателям“. Он с изумительным терпением читал обильные рукописи Б. Лазаревского, Н. Олигера и многих других.

— Нам нужно больше писателей, — говорил он. — Литература в нашем быту все еще новинка и „для избранных“. В Норвегии на каждые 226 человек населения — один писатель, а у нас один на миллион...

Болезнь иногда вызывала у него настроение ипохондрика и даже мизантропа. В такие дни он бывал капризен в суждениях своих и тяжел в отношении к людям.

Однажды, лежа на диване, сухо покашливая, играя термометром, он сказал:

— Жить для того, чтоб умереть, вообще не забавно, но жить, зная, что умрешь преждевременно, — уж совсем глупо...

Другой раз, сидя у открытого окна и поглядывая вдаль, в море — неожиданно, сердито проговорил:

— Мы привыкли жить надеждами на хорошую погоду, урожай, на приятный роман, надеждами разбогатеть или получить место полицеймейстера, а вот надежды поумнеть я не замечаю у людей. Думаем: при новом царе будет лучше, а через двести лет — еще лучше, и никто не заботится, чтоб это лучше наступило завтра. В общем — жизнь с каждым днем становится все сложнее и движется куда-то сама собою, а люди — заметно глупеют и все более людей остается в стороне от жизни.

Подумал и, наморщив лоб, прибавил:

— Точно нищие калеки во время крестного хода.

Он был врач, а болезнь врача всегда тяжелее болезни его пациентов; пациенты только чувствуют, а врач еще и знает кое-что о том, как разрушается его организм. Это один из тех случаев, когда знание можно считать приближающим смерть.

Хороши у него бывали глаза, когда он смеялся, — какие-то женски ласковые и нежно мягкие. И смех его, почти беззвучный, был как-то особенно хорош. Смеясь, он именно наслаждался смехом, ликовал; я не знаю, кто бы еще мог смеяться так — скажу — „духовно“.

Грубые анекдоты никогда не смешили его.

Смеясь так мило и душевно, он рассказывал мне:

— Знаете, почему Толстой относится к вам так неровно? Он ревнует, он думает, что Сулержицкий любит вас больше, чем его. Да, да. Вчера он говорил мне: не могу отнестись к Горькому искренно, сам не знаю почему, а не могу. Мне даже неприятно, что Сулер живет у него. Сулеру это вредно. Горький — злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи и этим обозлили его на все. У него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу. А бог у него — урод, в роде лешего или водяного деревенских баб.

Рассказывая, Чехов досмеялся до слез и отирая слезы продолжал:

— Я говорю: Горький добрый. А он: нет, нет, я знаю. У него утиный нос, такие носы бывают только у несчастных и злых. И женщины не любят его, а у женщин, как у собак, есть чутье к хорошему человеку. Вот Сулер — он обладает действительно драгоценной способностью бескорыстной любви к людям. В этом он — гениален. Уметь любить значит — все уметь...

Отдохнув, Чехов повторил:

— Да, старик ревнует... Какой удивительный...

О Толстом он говорил всегда с какой-то особенной, едва уловимой, нежной и смущенной улыбочкой в глазах, говорил, понижая голос, как о чем-то призрачном, таинственном, что требует слов осторожных, мягких.

Неоднократно жаловался, что около Толстого нет Эккермана, человека, который бы тщательно записывал острые, неожиданные и часто противоречивые мысли старого мудреца.

— Вот бы вы занялись этим, — убеждал он Сулержицкого. — Толстой так любит вас, так много и хорошо говорит с вами.

О Сулере Чехов сказал мне:

— Это — мудрый ребенок...

Очень хорошо сказал.

Как-то при мне Толстой восхищался рассказом Чехова, кажется — „Душенькой“. Он говорил:

— Это — как бы кружево, сплетенное целомудренной девушкой; были в старину такие девушки кружевницы, „вековуши“, они всю жизнь свою, все мечты о счастье влагали в узор. Мечтали узорами о самом милом, всю неясную, чистую любовь свою вплетали в кружево. — Толстой говорил очень волнуясь, со слезами на глазах. А у Чехова в этот день была повышенная температура, он сидел с красными пятнами на щеках и, наклоня голову, тщательно протирал пенснэ. Долго молчал, наконец, вздохнув, сказал тихо и смущенно:

— Там — опечатки...

О Чехове можно написать много, но необходимо писать о нем очень мелко и четко, чего я не умею! Хорошо бы написать о нем так, как сам он написал „Степь“, рассказ ароматный, легкий и такой, по-русски, задумчиво-грустный. Рассказ — для себя.

Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл.

Человек — ось мира.

А — скажут — пороки, а недостатки его?

Все мы голодны любовью к человеку, а при голоде и плохо выпеченный хлеб — сладко питает.

1905 г. — 1923 г.